



алексей алейников

ОБЛАСТЬ ТЕМНАЯ

Алексей Алейников

Область темная

«Издательские решения»

Алейников А.

Область темная / А. Алейников — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-508960-1

«Предаст же брат брата на смерть». Противостояние братьев-близнецов. Любовь к одной девушке. Выбор разных жизненных путей. Сотрудник НКВД — священник. Что важнее — жизнь брата или карьера? С кем будет та, которую полюбили оба? Какие испытания ждут братьев в век революций и войн? Что ждет их в конце пути?

ISBN 978-5-00-508960-1

© Алейников А.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	17
Глава 5	21
Глава 6	24
Глава 7	26
Глава 8	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Область темная

Алексей Алейников

*«Се есть ваша година и область темная»
(Лк. 22:53)*

*«Это ваше время и власть тьмы»
(Ев. от Луки, гл. 22, стих. 53)*

Дизайнер обложки Татьяна Завьялова

© Алексей Алейников, 2019

© Татьяна Завьялова, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-0050-8960-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

По настойчивой просьбе духовных детей старцев Петра и Павла, я, недостойный архимандрит Алексей, в году от Рождества Христова две тысячи первом решил, с Божией помощью и за молитвы Святых Отцев и всех молящихся обо мне, написать хотя бы краткие заметки о детских, юношеских и зрелых годах отцов Петра и Павла и событиях, бывших в ту пору в стране нашей, а равно и о прочих обстоятельствах жизни тех лет.

Святой по редкости и сиянию подобен чистой воды диаманту – дай Бог за всю жизнь узреть хотя бы одного! Мне же посчастливилось долгие годы быть келейником и доверенным лицом двух высочайшего духа старцев – отцов Петра и Павла Воскресенских. И так как жизни святых братьев переплетены между собой, словно два побега одной лозы, то и писать я буду сразу о двоих.

Глава 1

Достоверно известно, что братья явились на свет Божий в 1888 году, аккурат на праздник святых первоверховных апостолов, потому и окрестили их Петром и Павлом. Родились близнецы один за другим. Много лет спустя шутили старцы, что, подобно ветхозаветным Исааку и Исаву, Павел ухватил Петра за пята.

Так ли это было или по-другому, мы уже не узнаем. Давным-давно почили в Боге и отец братьев Николай Гаврилович, дьякон Троицкой церкви в селе Немышаевка Н-ского уезда, и матушка Анна Ивановна, в девичестве Аникеева, простая крестьянка, всю жизнь посвятившая мужу и детям.

Жила семья Воскресенских дружно, хотя и весьма небогато. Дьякон в то время числился в штате и получал жалование от государства российского, но денег этих едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Приходилось отцу Николаю, как ветхозаветному Аврааму, и скот содержать, и участок земли, кой был выделен от щедрот общиной крестьянской, возделывать. Тем не менее жили, как я уже писал, дружно и «во всяком благочестии и чистоте».

Правда, не скрывали братья, что матушка их была нраву крутого: могла, коль под горячую руку попадёшь, и веником огреть, и лозиною высечь, а чаще всего дланью крепкою приложиться по мягкому месту, да так, что озорник потом визжал как оглашённый и прощения просил искренне да зарекался более мать сердить. Впрочем, отец чаще всего успокаивал жёнушку словом мягким и добрым, спасая огольцов от гнева материнского.

Едва начали подрастать братья, отец стал их по делам церковным привлекать: свечи вынести, воды батюшке на руки слить, в колокол позвонить. Так что, можно сказать, росли они за церковной оградой.

Здесь и разделились пути братьев, те самые дороги, что в конце жизни удивительнейшим образом сошлись у стен нашего монастыря. Но об этом позднее. Впереди у них была целая жизнь, преисполненная бед и страданий, кои, как известно из Писания, душу очищают как огонь золото.

Пётр «из детска» рос мальчиком тихим и набожным. Его часто можно было видеть в одиночестве, размышляющим о чём-то, ему одному ведомом. Отец не мог нарадоваться на сына – и смыслённый, и послушный. Думаю, он часто говаривал матушке Анне, что, видно, заслужили они у Господа такое чудо Божие – сына великолепного во всех родах.

Павел же возрастал совсем другим – непокорливый и шумный, он был заводилой всех немышаевских мальчишек. Уже в глубокой старости улыбкой освещалось лицо отца Павла при воспоминании о незатейливых забавах детства.

– В жаркий день побежим, бывало, в поле, – рассказывал он мне, – суслика выливать. Загоним в нору. Он там затаится сердешный, еле дышит от страху, а мы его – водой. По-первах, особенно если попался крупный и толстый, он пытается мягким местом ход перекрыть – держит воду. Но мы не унимаемся: всё таскаем от ближнего пруда ведро за ведром. Суслик не выдерживает и драпака из норы. Мы его изловим и на верёвочке водим, пока не отдаст Богу душу, бедняга. Или залезем на шелковицу, птенца из гнезда вытащим и давай мухами потчевать и червяками. Да так закормим и затискаем, что он посинеет. Не со злости мы это делали, но не к добру. Дети неразумные, что с нас возьмёшь?

Но годы детские, счастливые, как известно, коротки. Пришло время и братьям выходить в жизнь взрослую. Так как были они из духовного сословия, то и путь их лежал по линии церковной. Непросто было в те времена выскочить из колеи, проложенной родителями: ежели ты из семьи землепашцев, то будешь горький хлеб крестьянский есть всю жизнь, если из купцов – торговать, ремесленник – руками работать, ну, а сын священника или дьякона – иди по линии духовной.

Дорога была долгой и тористой: по-первах, в девять лет надо было поступить в духовное училище, выдержать отрыв от родителей и тяжёлую атмосферу бурсы. Длилось обучение в училище пять лет – подготовительный, а потом ещё четыре класса. Затем следовала, конечно, ежели ученик себя хорошо зарекомендовал и успешно преодолел выпускные испытания, духовная семинария: полный курс – шесть лет. Здесь уже каждый решал свою судьбу самостоятельно: кто, сдав после четвёртого класса экзамен на аттестат зрелости, получал право служить по казённой части, кто шёл в военные, кто – в институт или университет.

Верные же церкви и призванию, закончив шесть классов семинарии, рукополагались и начинали служить в сане священническом. Наидостойнейшие направлялись учиться далее, в духовную академию, коих в то время в Российской империи было четыре: Санкт-Петербургская, Московская, Киевская и Казанская.

Отец Павел вспоминал, что в училище их отвезла маменька. Документы Н-ского духовного училища не сохранились, но можно предположить, что произошло это переломное в жизни братьев событие в 1897 году.

Стоя пред громадой учебного заведения, оторванные от дома мальчишки, предчувствуя, что денёчки их свободы завершаются навсегда, разревелись. Особенно усердствовал Пётр. Павел стоял, накуксившись, и только всхлипывал. Мать уже собралась пустить в ход наиболее действенный аргумент в виде твёрдой, точно камень, ладони. Но тут, к счастью, вышел к приехавшим один из преподавателей, восхитился, узрев близнецов, и увёл их вовнутрь здания. Маменька тем временем уехала.

Святые братья часто, сидя вместе за самоваром, вспоминали годы учёбы. И сейчас, когда с той поры минуло уже лет сорок, память легко воскрешает радостные вечера: гудит самовар, потрескивают дрова в печурке, а рядом сидят два светлых ликом и душой старца и неторопливо рассказывают о былом.

Начинает отец Пётр:

– Я-то учёбу сразу полюбил: церковнославянский, с детства привычный язык, история, география, азы латыни и древнегреческого – всё мне было в сладость. Нравились мне и арифметика, и каллиграфия, и Закон Божий. Мальчишки после уроков бегут во двор, в бабки играть, а я погуляю недолго, воздуха свежего глотну и спрячусь где-нибудь в закутке – учебник читать или жития святых.

– А я терпеть не мог ни училища, ни учёбы! – отец Павел сокрушённо склонял голову. – Как проказу сочинить, так я первый. А в учёбе не блистал, не блистал...

Отец Пётр, видя, что воспоминания тяготят брата, переводил тему:

– Помнишь, законоучитель у нас злой был? Орал на учеников, мог, если под горячую руку попадёшь, и линейкой огреть. На его уроках мы сидели тихо. Весною муха очнётся после зимнего сна и давай в раму биться. Нам интересно, а пошевелиться боимся – крут отец Михаил! Стоять на гречке весь урок в углу – ох как больно и стыдно! – в этом месте отец Пётр улыбался. – Правда, Павла это не останавливало: как урок Закона Божьего, так он наказан – стоит молча, только губы покусывает от боли. Но чтобы пожаловаться или прощения попросить – ни-ни!

– Кормили в училище вкусно. Так приятно было поесть пирогов, вареников, молока, рыбки вдосталь! Дома-то мы не голодали – коровы две в хлеву мычали, хряка отец откармливал на Рождество, но и ртов двое. И каких ртов! Мы росли, и каждый ел за троих. Отец с матерью всё нам подкладывают, а своё едва поклюют. У отца живот всегда подведён, мать худая, точно щепка, а нам всё мало.

– Бывало, Павлуша подобьёт – пойдём ещё горох объедать на господском поле.

Если кривоногого Трофима Иваныча на гнедой кобылке заметит кто, сразу бежать стрелой! Догонит объездчик, и кнутом стегануть может, и за ухо к матери привести, а у той рука тяжёлая! Но мы ловкие и юркие, – мгновенно врассыпную, только кусты колыхнутся. Тро-

фим Иваныч головой повертит, ругнётся и, вскочив на коня, дальше умчится – проверять, как мужики в поле работают.

– А я вспомнил, как веру-то терять начал, – отец Павел темнел лицом, как будто не простил его Господь за ту дерзость неверия, коей в те годы были подвержены многие и многие, и которая привела к бедам неисчислимым. – Как-то помогал я отцу в церкви. Больше, правда, под ногами крутился и мешал всем, но меня любили и терпели. Слышу, настоятель отца ругает:

– Что ж ты, отец дьякон, всё козлом пищишь? Не можешь басов добавить?

– Так где же басов-то взять, батюшка? Посмотрите, живот к позвоночнику прилип! – и подрясник вместе с рубахой задрал.

Тут отец Андрей сменил гнев на милость:

– И то верно. Тощий ты больно, отец Николай! Ну, впрочем, Богу виднее: кому басом петь, а кому – тенором выводить.

– А у самого священника чрево колыхается под рясой, будто квашня хорошо взошедшая, и бас мощный настолько, что стёкла в церкви дребезжат, когда он восклицает на Литургии: «Святая святым!»

И такая у меня обида в сердце зародилась! Я-то знал, как папенька трудолюбив и смиренен, как готов последнее отдать странникам и нищим, а священник наш, отец Андрей, без красненькой шагу не ступал. Хочешь креститься – синенькая, венчаться – червонец, ну, а если отпевание – весь четвертной слупит с крестьянина, последнюю рубаху снимет!

Не давая брату погрузиться в грустные воспоминания, вступал отец Пётр:

– Блаженные то были дни! Вокруг – раздолье. Бежишь по лугу, раскинув руки навстречу ветру, и чудится – ещё мгновенье и взлетишь над землёй! Домой приходили только к вечеру, наскоро ужинали с родителями и залазили на лежанку спать.

Отхлебнув из простой глиняной кружки слабенького – крепкий печень, отбитая на допросах, не позволяла, – но сильно сладкого чаю, отец Пётр продолжал:

– Жалко, что каникулы быстро заканчивались! Нужно было ехать в училище. Туда, где царили зубрёжка и грубая сила, и «второгодные» лбы издевались над слабыми, где ждали меня два верных друга – Коля и Гриша... Закончил я училище первым в классе, Павел – предпоследним. Преподаватели дивились – близнецы, а какие разные! Павла это очень злило.

– Был грех, – улыбался отец Павел и надкусывал на удивление крепкими, желтоватыми зубами баранку.

Здесь позвольте мне, с высоты прошедших лет, вмешаться в столь сладостные воспоминания.

Прочитав в эпоху «гласности» множество мемуаров, в том числе и митрополитов Евлогия (Георгиевского) и Вениамина (Федченко), я понял, что и в те достопамятные времена, как и сейчас (чего греха таить!), попадали в духовные училища и семинарии люди разные. Церковь ведь Господом основана, да людьми наполняется. Бывают и случайные, и злобные, и воры забредают, и даже злодеи. Чтобы в этом убедиться, откройте любой учебник по истории Вселенской Церкви. Чего только не было! Интриги, зависть, наушничество, даже убийства. Истина Божья в том и проявляется, чтобы, зная и не скрывая правды о внутренней жизни Церкви, помнить всегда, что свят в ней только Основатель, Тот, без Кого мы «не можем творить ничеосоже». Ну, а мы – люди грешные, страстям подверженные, к Богу только идущие, должны молиться и трудиться под сенью Христа и Матери-Церкви над спасением души.

– Пришло нам время идти в семинарию, – продолжал отец Пётр. – Здесь уже было поинтереснее, новые предметы, новые лица. Одинаковые были только преподаватели, почти все высохшие и скучные, как запылённые книги с дальней полки в библиотеке. Станет такой зануда перед классом и будто карась, вытасненный из воды, рот разевает. Его никто не слушает, всяк своими делами занят, а он всё бубнит у доски. Правда и отыгрывается рутинёр потом, на экза-

менах: шалил на уроке? был невнимателен? не доносил на товарищей? – получи оценку на балл, а то и на два ниже! И ничего, и никого не забудет, всё припомнит!

Глава 2

– Оглядываюсь назад и кажется, что шесть лет семинарии пролетели как один день. Но тогда они казались бескрайним полем: бредёшь по нему, бредёшь, а оно всё не заканчивается! Посудите сами: подъём засветло. Летом вставать полегче, в шесть утра уже и птички чирикают, приветствуют новый день, и солнышко вышло из-за горизонта. А поздней осенью и зимой? На небе луна всюю сияет, а тебя безжалостная трель колокольчика будит: «Подъём! Подъём!»

Кое-как глаза продрали, лица водой холодной сполоснули, оделись – уже время строиться на молитвенное правило. Дежурный тараторит перед строем: «От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице...», а мы стоим, зеваем и потягиваемся в те мгновения, когда инспектор отвлечётся. Под взглядом аудитора все вытягиваются в струнку и вколачивают, сложенные щепотью пальцы в лбы, животы и плечи.

На утреннем чае семинаристы ещё тихи: инспектор замер у входа, обводит столовую цепким взором. У кого воротничок грязен, кто опух с перепоею – ничего не пропустит чербер. Оплошал семинарист – получи поклоны! Курил с утра (всех обнохает, шевеля ноздрями и шумно втягивая воздух, ровно пёс сторожевой!) – полсотни поклонов, опоздал на завтрак – двенадцать. Ну, а если не чинно вышел из-за стола – то, будь добр, двадцать пять раз преклони колени перед иконами, поупражняйся!

Дожёвывая на ходу ржаные горбушки, бежим в учебные комнаты. Четвёртый класс гудит, будто улей. За учительским столом худющий, с свалившимися щеками, преподаватель Священного Писания излагает бесцветным голосом урок. Все заняты делами, учителя не слушают. Отца Фотия это нимало не беспокоит, и он всё так же монотонно бубнит о том, что «преображение Господне произошло на горе Фавор и предзнаменовало собой тот путь, который уготован всему христианскому миру».

По коридорам проносится дежурный первоклассник, рассыпая долгожданный звонок. У семинаристов есть десять минут. Надо успеть промчаться по двору, переброситься парой слов с друзьями из соседних классов. Если повезёт, можно сбегать за семечками. Вдохнули свежего воздуха – и опять в затхлые классы, грызть гранит науки.

Урок древнегреческого. В классе тишина. Склонились над текстами головы бурсаков. Профессор (так семинаристы величают всех преподавателей) Харитонов добродушен и незлобив. Даже если кто не знает урока и путается безбожно в аористах и плюсквамперфектах, то вздохнёт только и бросит: «Никто же, возложив руки на орало и зря вспять, управлен будет в Царствии Божиим».

Если кто из первых учеников ошибётся, то, почесав куцую бородёнку, разведёт руки: «Что вы, что вы, столпы Израилевы! Если вы не будете учиться как следует, то что же остальные?»

Час дня. Позади четыре урока, в головах – тяжесть. Строем в трапезную. Обед.

Бубнит с возвышения в центре зала дежурный чтец житие святого, но его никто не слушает. Молча жуют пшённую кашу и думают каждый о своём. Кто вспоминает дом, кто прикидывает, как с вечерней подготовки улизнуть. Задумчив и Пётр: приближается окончание четвёртого класса семинарии. Надо решать: кем быть?

Старые преподаватели, высокомерные и горделивые «свидетели былой славы», ворчат, что «нынче священников всё меньше и меньше». И то правда: из тех бурсаков, которые в прошлом году закончили четвёртый класс, лишь двадцать выбрали путь служения Церкви и остались ещё на два года в стенах «ненавистой тюрьмы». Остальные восемьдесят «братчиков» разлетелись кто куда, точно птенцы из опостылевшего гнезда.

Те, кто посмышлёнее, выдержав экзамен на «аттестат зрелости», поступали в университеты. Факультеты юридический, естественный и медицинский были полны бывших семинаристов. Кто побойче и позадиристей, те сменили надоевшие подрясники на строгие мундиры и звон шашек.

В душе Петра горело желание учиться дальше, стать священником или даже иеромонахом.

На воскресной Литургии хор семинаристов поёт в кафедральном соборе. Гулкий храм ещё пуст. Притвор наполняется прихожанами.

Канонарх сегодня особенно зол.

– Басы – подтянулись! Почто сонные, братия? – хлопает узкой ладонью по развёрнутым обиходам. – Тенора, вдохновенно поём! Добро? Братцы, не осрамите!

Хористы ворчат и стараются на спевке изо всех сил.

Вычитаны часы. Заканчивается проскомидия. Толпа колышется, дышит, будто единый организм. На великой ектенье, на «Господи, помилуй!» сотни рук одновременно взлетают в крестном знамении.

Тенора – Пётр Воскресенский и Анатолий Базов возносят до небес начало первого антифона, будто разворачивают божественный свиток: «Благослови, душе моя, Господа!». Подключаются альты – хор звучит величественно и слажено. Басы подрёвывают на низах: «И вся внутренняя моя, имя святое Его!»

На второй строфе вступает хор епархиального училища, забирая ещё выше, уже, наверное, к самому престолу Божию: «Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его!».

Чистые, высокие голоса так прекрасны, что кажется – ангелы спустились с небес, дабы усладить грешных людей пением.

В толпе слышны вздохи умиления. Растроганная старушка рыдает в полный голос.

Мужской хор выводит: «Блаженны вы есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради». И сворачивают восхитительный свиток пения епархиалки: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех».

На солею выплывает, боком протиснувшись через северные врата, протодьякон Антоний. Стоя спиной к прихожанам, так что из-под камилавки видны жирные складки на затылке, он воздевает тремя перстами орарь вверх и гудит на весь храм:

– Господу помолимся!

Прочли Апостол и Евангелие.

Приходит время «Херувимской». Таинственная жизнь течёт в алтаре: священник, воздевая руки горе, молится за весь род людской. А в храме царит голос – Её голос. Ровно херувим, оставив на мгновение лицезрение Господа, спустился на землю! Прихожане, хоть и ждут это пение, но, будто впервые, зачаровано внимают ему. В полнейшей тишине (даже неугомонные дети прекращают возню) звенит хрустальной нитью божественное одноголосие и поднимается в такие горные выси, куда восхищаются только души праведников и святых.

Мужской хор поёт «Многая лета!». Семинаристы строем подходят ко кресту и под благословение архиерея. Служба завершена.

Но не идёт из головы Петра видение обрамлённого белоснежным платком лица, звучит в сердце дивный голос.

После службы епархиалки уходят парами, под строгим присмотром учительницы пения. Сердце юноши трепещет, как листок осиновый: надо бы догнать её, окликнуть, хоть парой слов перекинуться! Но строг взгляд надзирательницы и давит грудь стеснение. «В другой раз!»

Наступает Пасха. В праздничную ночь собор полон до краёв шелестящей толпой. Отцы семейств в чистых рубахах и до блеска начищенных сапогах строго поглядывают на непосед-

ливых чад. Малыши переминаются с ноги на ногу, старшие стоят смиренно, крестятся вслед за родителями.

Над прихожанами плывёт ладанный дымок. Гудит ектенью чернобородый дьякон. Епископ подаёт возгласы из алтаря. Всё идёт по заведённому веками порядку.

Хор епархиального училища – напротив. Строгие платья, белоснежные фартуки и воротнички. Изящные головки укутаны в кипенно-белые платки. Как ни старается Пётр опускать глаза в пол, смотрит на неё. Показалось или она тоже взглянула в ответ? Колотится от восторга сердце, сладкий комок поднимается к горлу. Пётр нарочно поёт самым высоким голосом, чтобы она заметила. Так и не узнав, обратила ли внимание она, получает пинок по ноге от регента. Дыша чесноком, отец Варсонофий шипит:

– Ты что не свою партию пищишь, отрок?

Служба завершилась. Девочки из хора сбиваются в стайку, о чём-то судачат. «Может сейчас?» Ноги отказываются нести непослушное тело, пересыхает в горле.

Оба хора тянутся к выходу из церкви. Пётр видит, как она уходит, исчезает, возможно навсегда, и ничего не может поделать. Отчаянно щекочет в уголках глаз и хочется плакать.

Но приходит Троица («Пентакостия!») – изрекает Харитонов, воздев палец к небу). И вновь – полный собор, колыхание ветвей над толпой и её прекрасный лик.

Лето, а с ним и окончание учёбы подкрадываются незамеченными из-за обилия хлопот: экзамены подготовь и сдай, послушания исполни, а ещё надо майским вечером посидеть на улице, вдохнуть дурманящий аромат персидской сирени, послушать щёлканье соловьёв в близлежащем овраге да помечтать о будущем!

Каждый год встречаются в эту пору два ректора — семинарии и епархиального училища. Отведав наливочки и слегка закусив (уха царская, тройной выварки, окорок запечённый, курица с грибами), отцы неторопливо решают вопрос: быть совместному балу или нет?

А семинаристы уже напряглись: где добрая весть? Шушукуются по углам, неповиновением готовы напомнить о своих правах.

Вздыхнул отец Алипий и согласился с настоятелем епархиального училища: балу быть!

Главная зала собрания расцвечена электрическими лампочками – причуда богатых купцов Прянишникова и Филькина. Полковой оркестр рассыпает перезвон вальса Штрауса над пёстрой толпой. Плывёт над толпой тонкий аромат духов, смешанный с запахами разгорячённых молодых тел. Своекоштные «философы», двадцатилетние битюги, кружат в танце с раскрасневшимися епархиалками. Кому как не им, зрелым жеребцам, думать о семье, о славной паре?

Ражему «философу» в жёны подавай хотя бы дочь епархиального благочинного или гимназистку из семьи с достатком, а то и выше забирай – из самого института благородных девиц! Но благородные тоже не глупы: всё больше юнкеров да студентов привечают.

Девушки из епархиального училища, дочери дьячков и псаломщиков, большей частью бедны как церковные мыши и вряд ли составят блестящую партию. Оттого и не верят пылким речам да тесным объятиям семинаристов стройные красавицы в заштопанных чулках.

В кружение бала Пётр не вовлечён: стоит в дальнем углу, наблюдает. Потёртый сюртук и стоптанные туфли не дают почувствовать себя графом, но так хочется подойти к ней! Даже имя узнал: Анастасия, Настя. Черноволосая красавица уже пятый танец, не уставая, порхает по залу.

На кадрили Пётр, вдохнув и затаив дыхание, через весь зал идёт к ней. Одновременно с братом подходит и Павел. Взаимный поклон.

– Соблаговолите танец, сударыня? – произносят одновременно. Павел обжигает братца ненавидящим взглядом.

– Отчего же? Пойдёмте! – звенит колокольчиком голос Насти. Протягивает руку Петру.

Самого танца Пётр не замечает. Сменяются фигуры, гремит оркестр, но Пётр видит только её: алые губы, полураскрытые в улыбке, жемчуг зубов, лёгкий пушок над верхней губкой, блеск заплетённых в тугую косу волос цвета непроглядной ночи. Рука ощущает жар её тела, бросает в дрожь одно неловкое касание пальцев.

Как хочется, чтобы танец никогда не кончался, чтобы никогда не прекращалось чудо её присутствия! Но, взлетев крещендо, вальс падает с небесной выси и смолкает. Музыканты кладут инструменты на стулья. Пары прощаются.

Настя склоняется в полупоклоне: пушистые ресницы опущены книзу, на губах, не переставая, играет улыбка и голос звучит, будто колокольчик:

– Благодарю вас за танец!

С тоскою глядя на догорающий за высокими окнами закат, Пётр бредёт в угол.

Следующий танец достаётся Павлу. Пётр, смотря из угла залы на танцующих, ощущает незнакомое ранее чувство: ревность жжёт изнутри, перехватывает дыхание. Вот она улыбается брату-сопернику, вот чуть крепче прихватывает его руку. Не в силах выносить эту муку, Пётр, натываясь на недоумевающих товарищей, бежит прочь из душной залы.

Свежесть июньской ночи остужает быстро идущего юношу. Впереди темнеет громада дуба – широко раскинутые ветви полны таинственного шелеста. Ствол престарелого гиганта поскрипывает, точно стонет внутри кто-то. Подойдя к исполину, Пётр с размаха бьёт кулаком в ствол. Боль в разбитых костяшках отрезвляет. Дуя на сочащийся кровью кулак, Пётр произносит: «Соблазны мира сего!» и уходит из сада.

Двери семинарского храма приоткрыты. Пётр, перекрестившись, входит в тёмный притвор. Эхо шагов теряется под куполом храма. Перед образами на иконостасе – вишнёвые огоньки двух лампадок. Упав на колени перед иконой Спасителя, юноша молится об успокоении души, об изгнании соблазна, но и в молитве слышит Настин смех и ощущает жар девичьего тела под ладонью.

Вернувшись в корпус, обессиленный, Пётр падает на кровать и забывается до подъёма.

Глава 3

Мне, монаху, трудно представить, как думает, о чём грезит и думает шестнадцатилетняя девушка, но «дух Божий дышит, где хочет», потому, помолясь преподобному Нестору Летописцу, попытаюсь проникнуть в тайны девичьей души.

Анастасия Покровская

Чудны дела Твои, Господи! Два брата-близнеца ухаживают за мною – похожи до неузнаваемости. Только по голосу отличить можно: у Павла баритон, а у Петра – тенор. Он и в храме на левом клиросе поёт.

После того памятного бала запал мне в душу Павел. Решителен он и смел; говорит уверенно и смотрит твёрдо. На службе стоит в притворе – гордый, и не крестится вместе со всеми. Сердечко моё стучит-колотится, как взгляд на него упадёт. Сколько ни учила маменька первой с парнями не заговаривать, не выдержала и подошла после службы.

– Добрый день, Павел! Помните, мы на балу танцевали? – и смотрю на него. Повернулся ко мне, улыбнулся и взглянул прямо в глаза, будто в самое сердце посмотрел:

– Помню.

Я не выдержала – взгляд отвела, но и сбоку вижу, как он красив: глаза льдисто-голубые, волосы цвета угольного до плеч, губы алые. А щёки?! Зарделись, будто яблочки наливные! Неужто стесняется?

– А на балу это ваш брат был?

– Брат, кто же ещё! Единоутробный, – и опять улыбнулся, но как-то недобро.

Тут нас классная дама позвала, а она у нас строгая, и я побежала к своим. Потом всю ночь уснуть не могла – ворочалась, вспоминала утреннее рандеву. Моя бы воля – портрет бы его вышила и вместо иконы повесила!

Второй раз с Павлушей встретились на Пасху. Думала – решится ли? Раздвигая толпу – высокий, статный, широкоплечий – он подошёл. Мне показалось, что я оглохла и ослепла – неужели он рядом? Неужто смотрит на меня? «Христос воскрес!» – небесной музыкой прозвучал его голос. Яичко алое мне протянул и в щёки тоекратно облобызал. Я зарделась, от смущения не знаю, куда руки спрятать, а людей вокруг – тыща! Он мне записочку в руку тычет. Улыбнулся и в толпе исчез. Еле дождалась возвращения в дортуар. Спряталась в закутке, чтобы никто не увидел, разворачиваю письмецо, а там! Меня аж в жар бросило: «Желанная! Приходи, как стемнеет, к дубу-великану».

«Желанная!» Он назвал меня желанной! Я по спальне мечусь, не могу себе места найти от счастья. Хочется петь и танцевать! Схватила подушку, обняла и закружилась по дортуару. Подруги смотрят, посмеиваются, спрашивают, какова причина веселья, а я – никому. Только Маше Турянской на ушко шепнула, что будет у меня сегодня настоящее свидание. Она глаза круглые сделала и давай меня отговаривать: мол, ты его не знаешь, куда он тебя заведёт, не ведаешь; на днях девушку нашли задушенной. Я только отмахнулась: верю ему как себе!

Стемнело. Готовилась я долго: покрасивее оделась, причесалась, нарумянилась. У институток, небось, и помада есть, и румяна, и кольдкрем, а мы – девчонки простые. Губы слегка соком свекольным смазала, чтобы ярче атели, брови угольком подвела (ох и ругала нас классная дама, если заставляла за накрашиванием!), и готово. Собралась я и пошла в конец парка, где у нас дуб в три обхвата растёт. Иду, кругом темень, веточки сухие под ногами похрустывают, листва на верхушках колышется, где-то филин ухает, а мне нисколько не страшно – я к любимому иду!

Вот и дуб показался. Рядом темнеет фигура знакомая. Он, как меня увидел, шагнул навстречу, сразу обнял и поцеловал. Оторопела я от прыти такой, но не оттолкнула Павлушу, а лишь теснее прижалась. Так мы и простояли невесть сколько времени.

Через полгода у нас классная дама сменилась – Маргариту Викторовну муж-полковник в Санкт-Петербург увёз. Новая классная начала порядки наводить: из училища ни ногой, после вечерни – ужин и разошлись по дортуарам, на улице по сторонам не глазеем, не искушаем! Не училище, а монастырь какой-то! Загрустила я – как теперь видеться с Пашенькой? За окнами осень: по паркам не попрячешься, да и прозрачны они уже. Как в стихах у господина Тютчева, что у меня в альбоме записаны: «Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера!»

Но я всё равно сбегала. Скажу девочкам, чтобы не выдавали – говорили, что я на подработке, вышиваю или уроки даю, – а сама бегом к Павлуше. Он ждёт уже, былинку покусывает да чудесные волосы поправляет. Подкрадусь сзади и ладошками глаза закрою – угадай, кто? Он обернётся и так обнимет, что дух захватит. А уж как целовать начнёт, голова кружится, земля из-под ног плывёт. Потом долго гуляем, взявшись за руки. Павлуша всё рассказывает о грядущей революции, о том, что люди заживут счастливо и не будет богатых и бедных. Я его слушаю, а сама думаю, какое платье мне надеть на свадьбу, как я, вся в белом, сойду с пролётки перед церковью, и мы рука об руку пройдем к алтарю, как священник спросит меня и я отвечу: «Да!» И как у нас всё будет хорошо: домик и детишки в нём.

Позвольте здесь прервать рассказ о чувствах Анастасии отступлением об идеях и мыслях, что бродили в то время в голове Павла Воскресенского, впрочем, как и в сознании многих тысяч молодых людей в России.

С юных лет мечтая о справедливом мироустройстве, выбрал будущий старец стезю революционную. И был он совсем не одинок. До нас дошли слова великого Оптинского старца Варсонофия о том, что «революция в России произошла из семинарии». Многие из бурсаков, заражаясь духом бунтарским, становились социал-революционерами и большевиками. Один Иосиф Виссарионович чего стоит!

Вот как вспоминал о начале бунтарского пути отец Павел:

– В семинарии мы жили, как в тюрьме: строгий присмотр во всём – того не делай, так не говори, так не смотри. Естественно, у мальчишек это вызывало сопротивление. Ну, а уж в какие формы этот протест выльется, один Бог ведает. Нам нравилось свободомыслие, вольное поведение. Например, курить было строго-настрога запрещено, так мы назло всем забьёмся в укромный уголок и «кадим сатане». То же самое с пьянством и распутством. Случалось, на неделе по три раза устраивали вечеринки на квартире у какого-нибудь своекоштного: дым коромыслом, водка льётся рекою, а после разохотимся и к девкам подадимся. Так и жили.

Запрещённые книжонки почитывали поначалу, чтобы досадить старшим, а потом втягивались. У нас в семинарии тайная библиотека была. Хочешь – Бакунина или Чернышевского с Лениным читай, набирайся дури революционной. Иногда ещё и дискуссии устраивали. На них приходили товарищи постарше, уже насквозь пропитанные ядом бунтарским, и ещё более сбивали с толку молодёжь.

* * *

– Решил я, что, как сказано в «Катехизисе революционера», всё человеческое должно умереть внутри меня. Но как убить в себе любовь? Как вспомню её мягкие, жаркие губы, руки, ласкающие мои волосы, так мечусь по комнате тигром. Братчики знали, что в такие мгновения со мной лучше не заговаривать – мог и по уху съездить. Немного легчало, когда в кабаке заливался водкой. Но приходило утро, и снова в голове роились воспоминания... Не отпускала меня Настя, хохотала, обнажая жемчужные зубы, кружила на лесной поляне. Наваждение!

Мучился я так неделю, затем вышел во двор – там казённокоштные в «бабу» играли, подзвал одного покрепче и велел воды из колодца принести. Через минуту бежит, молодчага, ведро тащит. Выдохнул я и себе на голову ледяную воду опрокинул. А тело так разгорячено, что и холода не почувствовал, но внутри что-то как отрезало. Ничего, делающего меня слабым, в жизни быть не должно. «Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции».

А интерес революции требовал от меня, чтобы я пожертвовал и Настинной любовью, и жизнью, если понадобится. Накарябал я записочку, огольца свистнул, велел доставить кому надо. Так и закончилась любовь.

Анастасия Покровская

Как случилось, что мы расстались, я и не поняла. Прибежала к Павлуше, как обычно, а его на условленном месте нет. Замёрзшая, расстроенная, битый час прождала и вернулась в училище. На другой день на прогулке подбегает шпанёнок, чумазый такой, и записочку тычет. Развернула, буквы скачут, никак прочесть не могу. Успокоилась немного, читаю: «Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции».

Ничего я не поняла, догадалась только, что закончились наши милования, не пройлись мне в белом перед церковью. Проплакала неделю. Девчонки в толк взять не могут, что стряслось. И так, и этак расспрашивают, пожалеть пытаются, но я гордая – просто реву и всё. Только Маша знает мою печаль-кручину, но молчит подруга верная, никому не выдаёт.

Глава 4

Во взрослении и учёбе наступил беспокойный тысяча девятьсот пятый. Год, принёсший на землю российскую беду под названием «революция». Правда, первой русской революцией эти нестроения назвали гораздо позднее, в советских учебниках. Для живущих же в те времена это был апофеоз долгой и мучительной борьбы сил тьмы, как внутренних, так и внешних, желавших уничтожить державу российскую, и всего светлого и крепкого, что ещё сохраняло привычное течение жизни.

Первым камнем, приведшим к сходу революционной лавины, принято считать тот страшный день, 9 января 1905 года, когда мирная демонстрация рабочих, идущих с петицией к царю, была встречена выстрелами солдат. На самом деле уже много лет шла война внутри державы. Революционеры всех мастей, поощряемые силами извне, убивали выстрелами из револьверов, взрывали бомбами преданных царю и отечеству чиновников и военных — тех, кто, не убоившись угроз, продолжал служить России. Да что там! Самого царя-освободителя Александра II убили взрывом бомбы.

«Кровавое воскресенье», забастовки по всей стране, крестьянские бунты на Украине и в Поволжье — всё это знаки рвущегося наружу беса уничтожения. В стране, истекающей кровью в войне на Дальнем Востоке, ослабленной длящимся десятилетиями террором, ему удалось вырваться и натворить неисчислимых бед.

Переходя к воспоминаниям о тех днях, отец Пётр суровел ликом и начинал говорить глуше, точно до сих пор переживая беду Российской державы.

— Ранней весной, на Крестопоклонной неделе, года от Рождества Христова тысяча девятьсот пятого, отец инспектор классов, священник Димитрий Рысев, проходя мимо нашего двора, учуял подозрительную возню. Наверное, подумал, что «мерзавцы опять курят», и распахнул рывком резко скрипнувшую дверь. И сейчас помню удивлённого цербера, застывшего на пороге: семинаристы не дымили самокрутками, не лакали втихаря горькую и даже не резались в карты на щелобаны. Отложив грубые бурсацкие забавы, мы, прильнув к стёклам, напряжённо вглядывались в заоконную мглу. Там, в поместье графа Целиковского, в полутора вёрстах от семинарии, кромсали ночь алые сполохи и металась гигантские, до неба, тени. Тотчас ударили в набат.

— Наутро пришло известие, что ночью кто-то поджёг графу конюшню и сеновал. Лошадей, чистокровных ахалкетинцев, спасти не удалось.

Шептались о том, что лихие люди не только лошадей погубить хотели — едва не зарезали и хозяина, и всю его семью. Спас Целиковских поручик, ночевавший в поместье. Не убоившись татей, выскочил он, в чём мать родила, во двор, уложил из револьвера двух налётчиков, третьего зарубил, да сам погиб в неравной схватке.

Хуже всего было то, что опознали грабителей: трое убитых — крестьяне из ближних сёл.

А тут ещё пришли вести о забастовках и волнениях в Петербурге. Непокойно стало и в нашем городе, тревожно.

Отец Павел присоединился к рассказу брата.

— Ученики старших классов сбегали в город. Крестьянские лошади косились на гогочущих семинаристов и пряли ушами. Хозяева каурых и саврасых, закованные в неподвижность зипунов крестьяне, ворчали и осуждающе водили из стороны в сторону густыми бородами. Но больше всех от наглых бурсаков доставалось симпатичным девушкам и городовым. Красоток мы заставляли густо пунцоветь и перебегать на другую сторону улицы, подальше от сыплющих скабрёзными шуточками семинаристов. Городовые при виде такого безобразия тянулись к висающим на боку шашкам. Но не тут-то было: ловок брат-бурсак и вертляв — разве догонишь?

В семинарии жизнь текла привычным чередом. Продолжались опостылевшие хуже горькой редьки занятия. В преподавательской, пахнущей старыми книгами и мышами, готовились к занятиям учителя.

– Что-то оно будет? Как полагаете, Иннокентий Евлампьевич? – преподаватель литургики отец Гермоген, тощий, как кот после линьки, обладал необыкновенно сильным басом. Когда на уроке он втолковывал ученикам выпускного класса тонкости применения Марковых глав Типикона, раскаты его баса доносились до самых отдалённых уголков семинарии.

– Ничего хорошего ждать не приходится, отец Гермоген! – отвечал магистр богословия Харитонов, знаток античной философии и древнегреческого языка. Семинаристы прозвали его Гомером. Иннокентий Евлампьевич был лобаст, выпуклоглаз. Правда, видел он, в отличие от великого пиита, так хорошо, что на его уроках шпаргалками не пользовались – бесполезно. Где бы ни затаивал хитрющий «философ» или «богослов» листочек с нацарапанными на нём аористами и правилами склонения греческих глаголов, Иннокентий Евлампьевич узревал, находил и непременно осрамлял неуча перед классом.

– Полагаю, что злые силы, коих так много в «народе-богоносце», готовы вырваться наружу, – Харитонов подошёл к бюстику Пушкина и постучал по бронзе длинным пальцем: – Будет бунт, как всегда бессмысленный и беспощадный. Помяните моё слово! Ну что, пойдём в классы?

– А потом и мы взбунтовались, – отец Павел совсем по-молодому подмигнул мне: – Уже вечером в семинарии, взбудораженной слухами и полной безумной энергией молодости, развернулся митинг. Заколыхался лес стриженных голов, ударило во все стороны эхо ломающихся тенорков и баритонов. Густые басы старшеклассников выделялись даже из общего гвалта.

Требовали разное:

– Хотим, чтобы нам разрешили чаще выходить в город!

– Пусть лучше кормят!

– Долой эконома – он крадёт!

– Нет записям в журнал за причёски!

Надо отметить, в те времена учащийся семинарии находился под неусыпным контролем инспектора учебных классов. Тот наблюдал, чтобы семинаристы строго следовали правилам, установленным в духовном учебном заведении. Всякое нарушение и отклонение от норм наказывалось. Конечно, розги, столь плотно знакомые героям господина Помяловского, уже канули в прошлое, но и оставление без обеда, постановка в угол на гречку, запрет на прогулки, карцер и, как апофеоз, отчисление были достаточно действенными и унижительными наказаниями. В ответ семинаристы часто устраивали акции недовольства – то на уроки всем классом не придут, то службу воскресную посещать откажутся.

В тот раз бурсаки не ограничились простым выражением недовольства. Всё пошло гораздо хуже.

– Побушевало стоглавое море бунтующих семинаристов да исторгло делегацию – нас, четверых самых злых и наглых. Широким коридором шли молча, решительно склонив головы и сжав кулаки. Я, студент четвёртого класса семинарии, нас звали «философы», – впереди. Я не кричал больше всех, не размахивал руками, но когда объявили, что отец ректор примет лишь четверых, толпа молча расступилась передо мной – признавали моё превосходство, доказанное в опасных затеях и нешуточных битвах. За мной едва поспевали преданные друзья: Матвей, Иван, Семён.

– Павел, можешь так не спешить? Не на свидание, чай! – высокий Матвей, несмотря на длину ног, почти бежал за мною.

– Догоняй, попович!

Рядом со мной держался, не отставая, Семён. Позади всех, пыхтя и отдуваясь, нёс на коротких ногах полное тело Иван.

Отец ректор нас принял, внимательно выслушал.

– Хорошо. Но нам необходимо время для принятия разумного решения.

И сейчас вижу, как ректорова густая, с проседью, борода колеблется в такт словам.

– Наше главное требование – сменить отца инспектора классов! – мы четверо стоим полукругом перед ректором, смотрим недобро.

– На это, уважаемые, я пойти не могу! – похожие на жирных червей пальцы отца Алипия раздражённо постукивают по столу.

Ну, мы, естественно, обиделись.

– Ах так! Пожалеете! – наступая друг другу на ноги, вывалились из кабинета ректора, напоследок так хлопнув дверью, что этажом ниже магистра богословия Харитоновна обсыпало штукатуркой.

Я заголосил:

– Братчики! Надо бунтовать!

Дальше – как с горки покатилося: перебив стёкла в классной комнате, под моим руководством восемнадцатилетние бугаи, пыхтя и чертыхаясь, выволокли в коридор парты. Через минуту туда же вылетели и кровати из дортуаров. Сверху бросили тюфяки. Баррикада выросла едва не до потолка. Просидев за преградой до вечернего чая, больше на переговоры мы не пошли – орал из-за тюфячного завала, что не разберём баррикаду, пока инспектора не уволят.

Около восьми вечера в коридор вошёл высоченный урядник. Не говоря ни слова, он решительно подошёл к бурсацкой крепости. Штурм «философического» Измаила прошёл быстро и безжалостно: раскидав в мгновение ока тюфяки и парты, полицейский за шиворот вытащил двух самых горластых бурсаков и отволоч в участок.

Расправа была коротка: «четверых зачинщиков выгнать, троих своекоштных оставить на второй год в четвёртом классе, не допустив к выпускным испытаниям». Но... отец ректор милосерден, пожалел мятежников – оставил учиться.

– А мы всё не могли уgomониться: дух того времени был такой – бунтарский. Все чего-то требовали, чего-то вымогали.

Собрались мы, четверо друзей, как-то в кабаке. Вокруг вонь, гам, а нам того и надо – чтобы меньше нас видели. Заказали водочки. Я-то сам всегда мало пил, как будто предвидел монашеское будущее, а друзья мои сильны были в этом деле. Особенно Иван – он из крестьянских детей вышел, из тех немногих, кто чудом пробился по духовной линии. Ему, крепышу, и бутылки водки бывало маловато, ещё чарку-другую докупали.

Матвей – из поповичей, правда, из бедных. Отец его, простой сельский батюшка, так хотел, чтобы сыночек вышел в епископы или хотя бы в архимандриты! А чадо попово, хоть и было смышлено и расторопно, больше любило с девками непотребными забавляться, нежели латынь зубрить. Дон Кихот прозвище у него было. Весьма походил он на рыцаря ламанчского и ростом немалым, и вечным поиском справедливости.

Семён, третий из моих друзей, был внешне неказист и неприметен. Сейчас, годы спустя, и не припомню, как он выглядел. Вижу только тёмные волосы да карие глаза. Велика была в нём страсть к проказам и забавам. На Масляной девятьсот пятого именно Семён придумал прокатиться на извозчике через весь город. Взяв пустые чемоданы, мы наняли тройку с бубенцами и пронеслись по центральным улицам под завистливые взгляды ровесников и восхищённые — девушек. А как пришёл момент расчёта, вышли из саней якобы за деньгами, оставив ненужные чемоданы в залог. Напрасно стоял «ванька» битый час, ожидая, пока ему вынесут плату. Мы уже давно тискали девок у мадам Орешко да тешили лужёные глотки медовухой.

Приходил потом извозчик жаловаться к отцу ректору. «Так мол и так, объегорили меня, Ваше Высокопреподобие, шалопаи-бурсаки, а у меня – трое по лавкам». Протоиерей Алипий от греха подальше заплатил горемычному из своего кармана. На том дело и замаялось.

Здесь отец Пётр вздыхал в сокрушении сердца, молчал недолго и продолжал.

– Где-то неделю спустя после мятежа мы, четверо друзей, перешёптывались в тёмном углу.

– Тише! Инспектор рядом!

Послышались крадущиеся шаги. Инспектор прошёл мимо.

– Пошли! – теньями скользнули к забору, окружавшему семинарию. Здесь, сбросив ненавистные подрясники, накинули припрятанные заранее пиджаки. Модно постриженные головы украсили заливчатскими картузами. Никем не замеченные, перевалили через забор и направились в город.

Полчаса всего прошло, а уже в неверном свете чадящих керосинок, половой, сбиваясь с ног, таскал казёнку и закуску к дальнему столу. Там, в тёмном углу, пировали мы, четверо заговорщиков.

– Э-эх! Маловато водочки-то! – долговязый и худой Матвей, шумно отрыгнув, протягивает пальцы-клещи за квашеной капустой. Белёные нити закуски повисают на каштановой бородке седыми прядями.

– Довольно будет, Дон Кихот! – Иван, вспотев от обильной еды и питья, широкопалой ладонью растирает и без того багровый затылок. Секунда – и стакан водки исчезает в разверстой пасти.

– Иван, хватит жрать! – поправив непослушную прядь смоляных волос (всё на глаза сползала), я откладываю в сторону брошюрку. Иван, подхватив книжицу, читает вслух название:

– «Тезисы о Фейербахе». Карл Маркс. Никак, Павлуша, социалистом стал?

– Не твоего ума дело! Давайте обсудим задачи. Первая – ректор озверел. Надо бы его проучить!

– Может подлить ему свиного бульону в суп на Страстной? – предложил Семён.

– Мелко. Надо мыслить масштабнее! – я наклоняюсь к столу и шепчу. – Предлагаю его зарубить.

– Что ты, Павел! Белены объелся? – Иван отшатывается от меня так резко, будто чёрта узрел. – Как можно – грех ведь!

– Слаба-а-ак! – отхлёбываю водки из гранёного стакана. – По мне, так в самый раз! Подкараулить и раскроить черепушку, – ребро ладони бьёт по столешнице. – Будет знать, как в карцер сажать на хлеб да воду!

– Окстись, брат! Непременно сыск учинят. А это, Павле, каторгой пахнет! – Семён отодвигается от меня подальше, в густую тень.

– А-а-а! Трусы. Что с вами разговаривать! – зеваю и тянусь за книжечкой. – «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Именно так! Перестроить всё, что окружает нас, добиться лучшего, справедливого устройства общества!

– Всё-таки социалист! – Матвей ощеривается в улыбке. – Вот если ректор узнает, веселья будет!

– А откуда он узнает, Дон Кихот? Уж, не от тебя ли? – колю дружка взглядом, желваки взбугривают скулы.

– Что ты! – отшатывается сосед – Увидит, кто или услышит, выгонят с треском!

– Бог не выдаст, свинья не съест! – хлопнув соседа по острому плечу, встаю. – Пошли к девкам завалимся, философы!

Глава 5

Обычно на этом месте истории отец Павел замолчал, и никакими уговорами из него нельзя было вытянуть дальнейший ход событий. Восстановить деяния весны девятьсот пятого мне помог отец Пётр.

Пойдём же и мы, мой читатель, почти на сто лет назад, в старый корпус Н-ской семинарии.

У четвероклассников сегодня экзамен по истории Церкви. В классе холодно: в некоторых окнах вместо стёкол – фанера. В комнате стоит мерный гул: кто зубрит учебник, кто болтает с соседом. Чтобы согреться, семинаристы «жмут масло», едва не переворачивая парты.

– Класс, встать!

– И-испол-ла эти, де-е-спота! – дружно звучат годами натаскивания отшлифованные тенора, взрывают басы, между ними встречаются альты. Отец ректор требует, чтобы встречали его по архиерейскому чину.

В дверь боком, с трудом втянув обтянутый шёлковой рясой глобус живота, протискивается отец Алипий. Взгляд ректора оббегает притихший класс. Уголки пунцовых, будто измазанных вишнёвым соком губ растягивает сытая улыбка. После минутной возни в бездонных карманах, на свет Божий являются большущие, в пол-лица, очки. Усевшись, отец Алипий взмахивает рукой – садитесь!

Хлопают крышки парт. Со стуком на стол преподавателя кладётся журнал посещений.

– Проверим – все ли пришли? Гнилев?

Отзывается Сергей Гилев из дальнего угла:

– Есть!

– Сучкин?

Откликается Иван Сучков.

И так, изменяя «Рыков» на «Рыгов», «Пахомов» на «Пахабнов», смиряет отец Алипий семинаристов уже четвёртый год. Молчат ребята, только желваки на скулах поигрывают да кулаки до хруста сжимаются. Отец ректор и рад: заплывшие от жира глазки поблёскивают, складочки на подбородке подпрыгивают в такт смешку, переходящему в свист: «С-с-с-с! Эх я вас, братцы!»

Наконец-то мучительная переключка завершена.

– Ну-с, братия, приступим!

Позёвывая, слушает отец Алипий чушь, что несут семинаристы. В голове ректора тяжёлые, словно булжники, ворочаются воспоминания о недавно отшумевшей Масленице. «Славное получилось гуляние! С румяными блинами, с нежной икоркой. А холодная водочка в бокальчиках изо льда? Э-э-х!»

– Ты, – отец Алипий демократичен и ко всем, кроме Владыки, обращается на «ты», – подучил бы получше даты Вселенских Соборов. Ступай, ересиарх! Воскресенский, Пётр, давай сюда!

Слегка придерживая левой рукой челюсть, клацающую от волнения, Пётр бредёт к столу.

– Будь добр, любезный, поведай нам о ересь первых веков христианства, – ректор вколачивает сардельки пальцев в столешницу, от скуки рассматривает отполированные ногти.

– Маркониты, гностики, евкониты, манихеи, – справившись с волнением, выдыхает ответ Пётр.

– Ну, и в чём суть ереси марконитов? – слегка поворачивает поросычье рыльце к экзаменуемому отец ректор.

– Согласно учению марконитов, тысячелетнее царство Христа уже свершилось. Ересиарх Марконий учил своих последователей, что им нельзя вовлекаться в деятельность органов власти, что необходимо проводить время жизни только в молитве и посте.

– Неплохо! – отец ректор аж потеет от удовольствия. «В кои веки услышишь толковый ответ!»

Подтягивает отец Алипий поближе учебник Евграфа Смирнова, листает. В классе притихли – ждут, как Воскресенский вывернется.

– Ну, а про гностиков что поведаешь?

Внятно и чётко излагает Пётр суть учения.

– Смышлёный вьюнош! Светлая голова. Быть тебе митрополитом! – напугствует отличника отец ректор.

После экзамена Пётр почти бегом покидает класс. Уединиться, побыть наедине с Богом – вот чего жаждет душа, а не пустой похвалы. Святые отцы призывали уклоняться от мирской славы, более желать чести у Бога, нежели у людей.

Пётр входит в семинарский храм. Со стен строго глядят апостолы и святые. Потрескивают, сгорая, свечи. Фрески на своде храма и колоннах оживают в колеблющемся свете: сверху, прямо в сердце Петру, смотрит Спаситель, Богородица ласково смотрит на юношу. Тёплый дух идёт от пламенеющих свечей, пахнет ладаном – всё зовёт к молитве. Мир горный, лежащий бесконечно далеко и одновременно неизмеримо близко, окутывает юношу.

– Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь! – слова молитвы текут как ручей, на сердце становится тепло, уходит прочь тоска.

Последнее время Пётр удалялся подальше от шумных товарищей. Уже месяц при первой же возможности торопится открыть томик «Аскетических опытов» епископа Игнатия Брянчанинова, а там – и о монашеском делании, и об Иисусовой молитве.

Само-то слово «молитва» пронизывает всю жизнь семинариста. «Строим на утреннюю молитву!», перед едой «Христе Боже, благослови ястие и питие рабом твоим!». Но всё это казённо, обязательно, без пламени в сердце – пустое бубнение потерявших высокий смысл слов. Почти все, даже преподаватели, крестятся так, будто мух отгоняют.

У святителя речь идёт совсем о другом: о молитве внутренней, возжигающей ум и сердце и возносящей делателя до высот горних. И хоть не советовал епископ идти путём «умнаго делания» в одиночку, без должного руководства, но где найдёшь в наш век духоносных старцев? Вот и у преподобного Серафима из Сарова кроме Господа наставников не было.

Под лестницей, рядом с оранжереей, есть крохотная комнатка для садового инвентаря. Её и облюбовал Пётр для практики «внутренней молитвы». Поначалу шло трудно: стоило отсчитать десять зёрнышек на чётках, десять раз повторить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!», как что-то отвлекало от сосредоточения, вводило в мир грёз. Мечталось семинаристу Петру Воскресенскому, как служению Божию посвящённая жизнь приведёт его к тем чудесам, кои описаны в житиях святых подвижников и старцев.

Пётр встряхивает головой, отгоняя видения грядущей славы. Бесшумный вдох: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!» – и на выдохе: «Помилуй мя, грешного!» Два круга чёток пройдены. «Кажется или действительно потеплело в сердце?»

«Нужно вернуться к молитве!» И снова вдох и на выдохе: «Помилуй мя, грешного!» Вновь задача: только отсчитаешь двадцать зёрнышек на чётках, как тяжелеют веки, голова начинает клониться на грудь. Какая уж тут молитва! Воспоминания и мечты роем кружатся в голове. Приходится начинать всё сызнова.

Пётр уже погружается в молитву, когда его отвлекает необычный звук. Лёгкий ветерок колышет пламя свечи: в комнатку кто-то протискивается боком. Вошедший высок, черноволос и чем-то знаком. Он поворачивается к Петру – Павел! Взгляды братьев пересекаются.

Глава 6

Была у отца ректора слабость – цветы. Какие только диковинки не произрастали в его личной оранжерее! Даже орхидеи матово белели под стеклянной крышей.

Утро отец Алипий начинал с посещения стеклянного дворца. Походит меж грядок – где листок поправит, где леечкой sprysнет подувядший цветочек, где просто постоит, полюбуется на красоту ненаглядную. Потом вздохнёт, промолвит: «Смотрите крин сельных, како растут! Не пашут, не сеют», и пойдёт обход семинарии совершать.

Тем утром всё шло, как обычно. Прогулялся ректор по «саду эдемскому», вздохнул и готовился уже выходить, но не успел, сердешный... что-то чёрное мелькнуло за его спиной. Краем глаза заметил страдалец, что был это, похоже, семинарист, хотел спросить, что делает незваный гость в оранжерее, но времени ему не дали. Свистнул топор, и потемнело в глазах ректора. От удара страшной силы проломилась бы голова настоятеля, но Бог уберёг – скользнуло лезвие по клобуку (вот уж воистину «шлем спасения!»), содрало кусок кожи, вонзилось в ключицу и там застряло. Убивец подумал, что мёртв отец ректор и убежал, бросив топор.

На счастье, как раз мимо инспектор Рысев проходил, кликнул семинаристов, те слетали за доктором. Перенесли мученика в квартиру. Доктор, аккуратно топор вынув, кровь остановил да наложил тугую повязку. «Через неделю, Ваше Высокопреподобие, будете как огурчик!»

Наутро по семинарии пополз слух: в кабинете ректора сидит ужасный следователь по особо важным делам и допытывается, не слышал ли кто чего. И уже сторонятся друг друга вчерашние приятели, смолкают доверительные беседы в укромных уголках, только шепоток ползёт по бурсе: Гилева вызвали, Сучков пошёл. Петра в тот день не тронули.

Ночью он долго не мог уснуть, ворочался и вздыхал так шумно, что сосед, Витька Рыков, спросонья пробормотал:

– Петька, дай поспать, ради Бога!

– Хорошо, хорошо, – накрылся подушкой и попытался задремать. Но сон не приходил, тело требовало движения. Скрипнув дверью, Пётр вышел из спальни. За окном висела полная луна. Острые тени от рамы резали пол на вытянутые прямоугольники. Попытался ходить, но половицы скрипучие, можно всю семинарию разбудить. Так и сидел возле дортуара, перебирал чётки, молился: «Господи, вразуми!!! Как поступить: по совести или по-братски?!» Ответа не было.

Скрипнула дверь. В коридор, протирая глаза, вышел из соседней спальни здоровяк Сучков.

– Воскресенский, чёрт! Напугал. Подумал, привидение завелось. Чего не спишь?

– Да так, не спится.

– Ну, ладно, – поскрёб в затылке. – Дело твоё. Схожу до ветру.

Томительно ползут минуты, складываясь в часы. За окнами спален уже сереет, когда Пётр, не раздеваясь, валится на кровать.

Мгновение пролетело, а уже теребят, уши крутят.

– Вставай, Воскресенский! К службе пора.

Вот и гулкая пустота семинарского храма. На распевке отец Онуфрий особенно зол, подзатыльники так и сыплются на стриженные затылки.

– Вам, дьяволята, в аду грешников мучить завыванием, а не в храме Божьем петь! А ну, пробудились! Басы подналегли – совсем не слышно.

На «блаженствах» просыпаются братчики: тенора уносятся «горе», дышат живостью альты и басы подналегают, да так, что морщится канонарх и только кулаком пудовым грозит: «Не переберите!»

Служба неторопливо нарастает, готовясь достичь крещендо на анафоре. Читают Апостол. Могучий бас протодьякона Сергия заставляет встрепенуться старушек, дремлющих по углам храма. Время Евангелия. Подрёвывая на переходах от строки к строке, чередной священник читает зачало из Евангелия от Матфея: «Не судите, да не судими будете: имже бо судом судите, судят вам. И в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же видеши сучец, иже во оце брата твоего, бервна же, еже есть во оце твоём, не чуеши?» Грозные слова эти поразили Петра так, как если бы он на бегу врезался в преграду. «Не мне ли сам Спаситель даёт прямое указание? Кто я таков, чтобы судить брата моего? Дано ли мне право решать: кто прав, кто виноват?».

За окнами дотлевет короткий мартовский день, когда в учебную комнату, где роем гудят «философы» – кто готовится к урокам, кто чинит бельишко, а кто и в карты режется, врывается запыхавшийся паренёк из младшего класса.

– Воскресенский, к отцу ректору!

«Господи, дай сил сдержать обещание!» Шаги гремят бесконечным коридором, эхо бьётся в мышинового цвета стены.

Возле кабинета юноша крестится и шепчет: «Богородице Дево, радуйся!»

– Ну, заходи, брат! Воскресенский? Пётр? – Мягко следовательно на вид и добродушен, только глаза выдают сыщика – колючие дырочки на полном личике постаревшего херувима сверлят собеседника, изучают. Сидит он на табуреточке, которая возле ректорова стола приставлена, потирает пухлые ладошки. Закончил тереть, округлил щёки и на ладони дунул, точно пыль прогоняя прочь.

– Та-ак! Что расскажешь? Может, видел или слышал что? Знаешь, кто отца ректора убить хотел? – умолк, ожидая ответа. Видя, что не спешит рассказывать бурсак, решил зайти с другого боку.

– Угощайся! – коробочка с монпансье в протянутой ладони. – Пытаюсь я, Петруша, отказаться от табакокурения. Вот доктор посоветовал. Курить, мол, говорит, будете меньше, да и дыхание свежее. Бери больше, не стесняйся!

Пётр берёт одну штучку, кладёт в рот, тает леденец во рту, холодит нёбо.

– Ваше благородие, не видал ничего – молился.

– Ага. Собеседниче ангелов? Ну, ну, – слегка жуёт следовательно пухлыми губами, отчего шрам в уголке рта смешно подпрыгивает. – Так, говоришь, ничего не видел?

– Нет, – Пётр твёрдо выдерживает сверление глаз.

– Ну, ладно. Вижу, что не врёшь. Свободен.

И уже в спину:

– Но, ежели что узнаешь, мигом ко мне. Понял?

Не оборачиваясь, Пётр кивает.

Прочь из душного кабинета! Выйдя, Пётр широко крестится: «Благодарю Тебя, Господи!»

Напрасно вызывал каждого семинариста страшный человечек со шрамом в уголке рта – никто не проговорился. Через неделю, несолоно хлебавши, следовательно, сославшись на более важные дела, буркнул Владыке: «Честь имею!» и отбыл восвояси.

Глава 7

Вокруг бушевал девятьсот шестой год. Даже высочайший декрет от 17 октября 1905 о даровании народу свобод и созыве первой Думы не успокоил людское море. Многие из семинаристов, подобно господину Чернышевскому, вставали на революционный путь – путь гибели. Не минула зараза сия и Павла.

Сразу после занятий Павел сбежал в город. На тихой улочке, в десяти минутах быстрой ходьбы от пожарной части, притаился бревенчатый дом. Украшен скромно: резные наличники да петушок-флюгер на коньке крыши. За двадцать метров от дома к Павлу подошла парочка – мастеровой в пиджаке и косоворотке, с ним девица, из «разбитных». Прозвучали пароль и отзыв. Павла провели к дому. Мастерской выстукал в запертые ставни «Сердце красавицы». Калитка бесшумно отворилась. Глухо зарычал серый великан-пёс, звякнула цепь – собаку придержали, пока гость входил в дом.

В горнице висит сизый дым пластами. Подкрученная почти до предела пятилинейка бросает слабый свет на сидящих. В комнате пять человек: четверо мужчин – усы-бороды, одеты, как рабочие, в поддёвки и сапоги, и девушка в тёмном платке. На вошедшего смотрят с интересом. На столе зеленеют бутылки с пивом, водкой, видны тарелки с закусками, но к еде и выпивке никто не прикасается.

Из дальнего угла доносится властное:

– Проходите, Павел! Кружилин рекомендовал вас как энергичного и надёжного товарища.

Из полутьмы выходит на свет невысокий, коренастый мужчина с открытым, простым лицом. Таких по улице – пучок на рубль в базарный день. Лет тридцати, нос картошкой, губы – две узкие полоски на бледном лице, ранние залысины. Вот только глаза не как у всех. Удивительные глаза – словно пылают изнутри особенным светом. Взглянул на Павла, и точно насквозь просветил рентгеном.

– Давайте знакомиться, – старший протягивает твёрдую, будто из гранита вырубленную, руку. – Хрунов. Это, – обводит группу взглядом, – наши товарищи. Расскажите о себе.

Стоя посреди комнаты, запинаясь и непривычно краснея, Павел сообщает новым товарищам о семье и учёбе в семинарии.

Во время рассказа Павла революционеры хранят молчание. Во дворе лает пёс. Хрунов, подойдя к окну сбоку, выглядывает в щель.

– Всё спокойно.

Вернувшись на середину комнаты, старший смотрит на товарищей. Каждый из пяти едва заметно кивает.

– Понятно. Ну что ж, располагайтесь. Мы обсуждаем задачи нынешнего момента.

«Семинария? Забыть! Все силы на борьбу с ненавистным режимом!» – думает Павел, вступая в мае 1906-го в партию большевиков и в боевую организацию.

Хрунов поручает Павлу доставку листовок. Наставляя новоиспечённого революционера, прошедший через тюрьму и ссылку большевик учит юношу:

– Пусть провалилось восстание в девятьсот пятом, пусть погибли товарищи по партии, но не зря всё это. Теперь мы всё правильно организуем, по науке марксистской. Помни: листовка важнее винтовки. Пуля может убить только одного пособника режима, только одного городского или шпики, а одна прокламация распропагандирует десяток солдат и приблизит падение царизма!

Нацепив лобную лямку, Павел носит ткань в тюках в Одесском порту. Днём разгружает корабли, а вечером в переполненных кабаках сидит с простым людом: биндюжниками,

рыбаками, контрабандистами. Выпьют по рюмашке, помягчают, тут самое время поговорить за жизнь.

А жизнь у всех одна – беспросветный мрак, нищета, тяжкий труд. Но когда Павел живописал прекрасное будущее, где не будет хозяев, у его собеседников загорались глаза. Многие соглашались подсобить – передать свёрнутую треугольником листовку друзьям, рассказать о том, что слышали на работе. Только контрабандисты помогали строго за деньги. Но ведь нужны же были! Приходилось сотрудничать. Кто ещё рискнёт доставить в кишаций филёрами порт газеты и прокламации, отпечатанные за рубежом? Вот и платили большевики золотом за пособия по революционной борьбе.

Жили Павел с Хруновым в то время на съёмной квартире, у одной разговорчивой торговки с Привоза. Она их и сдала. Сарайчик во дворе использовался подпольщиками для хранения литературы. Июньской ночью, когда как раз пришла очередная порция листовок и газет, Павла ждала засада. Трое здоровенных жлобов из охранки навалились, он и пикнуть не успел.

Потом – тюрьма, короткий суд и высылка «под гласный надзор» в Сибирь. В ссылке Павел не скучал. Ходил на охоту, рыбачил, даже разок с мужиками медведя подняли.

Но больше всего времени проводил с товарищами. В посёлке жили трое ссыльных: Павел и товарищи Вадим и Резо.

Долги зимние вечера. Керосинка уютно светит, но революционеры не бездельничают: до полуночи штудируют Плеханова и Нечаева, читают вслух Чернышевского и Герцена.

Утром, сделав зарядку, облившись холодной водой и позавтракав, Павел садится за конспекты. Товарищ Вадим учит его по работам Ленина и Плеханова. Сегодня дал задание написать, на кого из революционеров прошлого Павел хотел бы походить. Строки неровного (сколько раз стоял на гречке за это!) почерка наползают друг на друга, мысли опережают перо.

«Примером для меня стали товарищи по партии: негибимые, сильные. Из литературных героев я больше всего хотел походить на Рахметова. Так же как он, я закаляю тело и укрепляю волю. Приучаю себя обходиться без пищи по неделе, могу не спать по три дня. Верю, что мужество и сила пригодятся нам в борьбе с царским режимом».

Прочитал товарищ Вадим, похвалил. Резо молча просмотрел, взглянул из-под густых бровей и дальше книжку читать сел.

Весною, за месяц до того, как стронулся лёд, ссыльные решили уйти. Забили барана, накопили мяса. У крестьян разжились вяленой чухонью и омулем. Чтобы урядник сельский не спросил, для чего еду копят, скупали всё частями, у разных людей.

Мартовским утром, едва посерело небо, трое на коротких лыжах, с котомками за плечами вышли в лес. Вокруг – только сосны до неба. Шли ходко, почти без привалов. Не то чтобы опасались погони, просто рвались к свободе. Вдоль русла реки по глубокому снегу скользило легко.

В тайге стояла тишина: скрипнет где-то дерево да глухарь перелетит с ветки на ветку – и вновь тихо. Морозный воздух рвал лёгкие, и беглецы не могли надышаться – так сладок был воздух свободы!

Шли долго. Уже разгорелись в небе крупные северные звёзды, а трое всё скользили вперёд. Но вот Резо поднял вверх руку, пора ночёвку устраивать. Утоптали снег, развели костёр, вскипятили чаю. Поужинав вяленой бараниной, завалились спать.

Так шли по тайге десять дней. Направление держал Резо, самый опытный из ссыльных: трижды уходил из-под надзора и ни разу не заблудился.

Добрались беглецы до тракта. Здесь уже было легче, много всякого люда бродит Сибирью-матушкой. Отсюда рукой подать до чугунки. Взяли билеты в третий класс и затаились среди пассажиров. За время странствий они и сами стали походить не то на золотоискателей, не то на купцов, что пушнину по факториям скупают: густые бороды, потёртая одежда, обветренные лица.

Прошла всего неделя, и многолюдье Киева обрушилось на беглецов. Горланили разноски снеди и газет, позванивал трамвай, громко цокали копыта лошадей, шуршали резиновыми ободами по булыжной мостовой пролётки. На Крещатике белоснежные и розовые пирамидки украсили каштаны, одуряющий аромат сирени заполонил всё вокруг, заставляя кружиться головы беспечных киевлян.

Дабы не привлекать внимание филёров и городских уставшими лицами и запылённой одеждой, шумных центральных улиц друзья избегали. На явочную квартиру пробирались глухими окраинами. Кругом виднелись покосившиеся домики и хмурые бараки, набитые доверху, будто спички в коробке, фабричным людом. Пахло вываривающимся бельём, крысиным помётом и кислыми щами. Здесь, в завешанной сохнувшим бельём квартире, революционеров накормили, напоили, снабдили новыми паспортами.

Павел попросил фамилию подобрать под партийную кличку – Седой. Да и какой ещё псевдоним можно дать тому, у кого к девятнадцати годам серебристых волос на голове больше, чем чёрных? Паспорт Седова Павла Гавриловича пах свежей краской и подозрений не вызывал.

Отдыхали недолго. Уже через неделю пришедший поздно вечером товарищ Вадим сообщил Павлу, что его ждёт учёба.

В школе бомбистов, что находилась под Львовом, Павел научился стрелять из револьвера, трехлинейки, маузера, собирать бомбы. Изучали революционеры искусство уличных боёв, конспирацию и много других наук, важных для разрушителей империи. После экзаменов Павел вернулся в Киев.

– Ну что, сдюжишь? Не струсил? – товарищ Вадим строго смотрит Павлу прямо в глаза. – Тебе поручается дело чрезвычайной важности! От его исхода зависит судьба многих сотен наших товарищей.

Денёк 19 мая, года одна тысяча девятьсот седьмого от Рождества Христова, выдался солнечный. По бульвару вдоль главного корпуса университета Святого Владимира фланировали кокетки в кружевных платьях. Прикрываясь от щедрого солнца крошечными зонтиками, девицы провожали каждого встречного мужчину залихватским смехом. Щёголи тоже в долгу не оставались, и завязывались знакомства, и кипели страсти в тени цветущих каштанов, и казалось, ничто не может нарушить идиллию густо пропитанного ароматами дня.

Павел вышел из конспиративной квартиры около полудня. Боевикам стало известно, что между тринадцатью и четырнадцатью часами главный следователь жандармского управления Кожемяко Иван Павлович имеет обыкновение совершать променады. Гуляет он от здания управы до университета и обратно, фланирует по тротуару иногда в одиночестве, иногда с товарищем. Боевая группа решила привести приговор революционного суда в исполнение именно в этот момент – в другое время достать его будет сложно.

Передам слово самому отцу Павлу.

– Я жду в переулке. Сердце колотится так, будто сейчас выскочит. Мимо проходит Кожемяко. Рядом – товарищ. О чём-то беседуют. Выхожу и неторопливо догоняю следователя. Двое увлечены беседой и на меня внимания не обращают. Равняюсь с жандармом, кинжал прикрыт плащом. Дело секунды – вонзить стальное жало в почку. Как мягко вошло! Будто не в плоть человеческую, а в масло. Не вынимая кинжала, с невозмутимым видом прохожу мимо. Даже шляпу приподнимаю, будто старых знакомых повстречал. Ещё мгновение – и Кожемяко начинает оседать. Что-то прошептал товарищу и тот бежит за мной. Пытается схватить за руку, но я быстрее – выхватываю пистолет и палю в дурака. Мимо! Глупец успевает только сорвать плащ с руки. Передо мной оказывается крестьянин. Ну, что, безумец, и тебе жить надоело? Стреляю бородатому в грудь. Бегу дальше. Улицей несутся крики, наперерез мне бросается постовой. Ещё два выстрела, и фараон оседает кулём на мостовую. Сворачиваю в переулок, в присмотренное место. Мчусь через проход в пустынный двор, ещё двор – оторвался.

Отклеил усики, волосы расчесал по-другому – если кто и видел, не узнают. Переулками добрался до конспиративной квартиры, а там уже всё знают. Город, говорят, гудит. Зарезали, мол, главного следователя, закололи среди бела дня.

Ну, я залёг, недели две не выходил на улицу. Проснусь, волевою гимнастику по системе Анохина сделаю, затем холодной водой обольюсь. Завтракаю в своё удовольствие – товарищи поддерживают, присылают продукты. Потом читаю. Времени у меня много. Толстенные тома «Капитала» пытался осилить, но не моё это! А вот брошюры Ульянова-Ленина легли на сердце. Ясно пишет, понятно. Сразу видно, человек толк в революционной борьбе знает.

Но не век же мне саморазвитием заниматься! Пора работу делать – расшатывать царский режим изнутри. Решили меня привлечь к агитации, устроить на военный завод.

За окнами только светает, а я уже встаю: в цеху надо быть к семи. Проревёт гудок и начнётся рабочий день. Опытный рабочий за смену зарабатывает пять-шесть рублей. Эти разложившиеся мещане – нам не помощники. Думают только о возможности купить домик в деревне. Наши друзья и товарищи по революционной борьбе – чернорабочие и новички из деревни. Вот кто, затаив дыхание, слушает рассказы о необходимости революционных преобразований, о светлом будущем, где не будет эксплуататоров.

Листовки я держал в ящике, на заднем дворе. Прихожу как-то за свежей порцией материалов, а там – полицейские и тип в гороховом пальто. Сдал меня кто-то из учеников.

Опять суд. Теперь высылка подальше – в заполярный край. Там только олени бегают да ягель растёт. Но я и в этот раз не засиделся. Едва сошёл снег, помахал рукой уряднику и двинул на запад.

Три месяца шёл. Вымотался до предела. Ночевать нормально не всегда удавалось, к тому же от каждой собаки встречной хорониться приходилось. В дороге помогали, в основном, женщины: пригласит какая-нибудь солдатка домой, самогону нальёт да покормит. Ну, а ты знай мужскую работу справно делай. Наутро и не вспомнишь, как звали ночную подругу.

Один раз только застрял я на две недели. Уж больно хороша оказалась хозяйка! Не вырваться из плена мягкой груди да жарких губ. Но... Пора и честь знать, встал, пока не рассвело и, не прощаясь, потопал дальше.

Глава 8

Летнюю сессию Пётр сдал на «превосходно». Семинарию закончил по первому разряду. Рекомендован к поступлению в Духовную Академию.

Но Пётр не торопился. Какое-то томление духа не давало принять окончательное решение: идти учиться в Академию или рукополагаться?

А тут как раз подкопил немного денег – помогал отстающим семинаристам перевалить через Альпы экзаменов. Надо съездить, потрудиться по обету, на Соловки!

Много лет назад, когда ещё совсем крошечный Петруша захворал, фельдшер, осмотрев мальчика, вывел маму за локоть в сени:

– Нарыв в горле большой. Может залить. Ежели до утра доживёт, то хорошо. Молиться надо!

Ночь. Тикают ходики. В красном углу перед образом Богородицы теплится лампадка. Две женщины, старая и молодая, стоят на коленях.

– Богородице, милостивая! Не дай умереть сыночку! – слёзы прожигают бороздки на румяных щеках мамы и привычными ложбинками текут по сморщенному лицу бабушки.

– Ежели выздоровеет, обещаюсь отправить поработать к святым угодникам Зосиме и Савватию.

Смилостивилась Пречистая, и к рассвету Петруше полегчало. А уже через неделю:

– Выглянь-ка в окошко. Как там наш оголец?

– Носится ровно оглашённый, – бабушка улыбается.

– Вот и славно. Благодарю Тебя, Всевышняя! – и перекрестится мать.

Обеты выполнять надо. Пётр выбрал монастырь.

Чугункой до Петербурга, оттуда до Архангельска. В порту паломников на Соловки ждёт пароходик. Невелик корабль и до краёв наполнен разночинным людом. На нижней палубе сбились в кучки крестьяне: бабы, повязанные белоснежными платками по самые глаза, и мужья их, персть земная. Молчаливые мужики в поношенных кафтанах, на ногах лапти и онучи; кто помоложе, у тех кафтаны поновее и обуты в сапоги. Едут поклониться святыням Соловецким.

Рядом прохаживаются, свысока посматривая на крестьян («Не ровня вы нам, деревня!»), двое мастеровых. Нынче на военных заводах хорошо платят, и рабочие выглядят щёголями. Оба в хромовых сапогах, поскрипывающих при каждом шаге. Добротные поддёвки надёжно защищают «работных людей» от секущего ветра, а лихо заломленные на затылок картузы крепко держатся на смазанных маслом волосах.

А уж на верхней палубе – самая чистая публика: дворяне, промышленники, профессора и студенты, курсистки. Здесь одеты дорого и красиво. На мужчинах костюмы добротной шерсти, из жилетного кармана непременно тянется цепочка от часов «Буре и сыновья». Женщины в платьях с плиссированными юбками, плечи открыты по моде, но укутаны в пуховые шали. На головах шляпки всевозможных цветов и размеров.

Сверху видно далеко, и поглядывают господа, кто в лорнет, а кто в бинокль, на далёкий пока ещё Большой Соловецкий остров.

Пётр дрожит в лёгкой курточке и подряснике, смиряется – сам решил поехать на север. Пытается молиться, но ровный гул разговоров отвлекает и не даёт сосредоточиться. Здесь, на нижней палубе, говорят о многом, но больше об урожае и своих бедах. В углу истово крестится мужичок лет сорока. Размером с хорошую сливу нос в рубиновых прожилках, нос выдаёт поклонника Бахуса.

– Мне туды надоть, хучь кричи! – в уголках глаз появляются слёзы. Пьяница, смахивая влагу, задевает локтём соседа, степенного крестьянина в барашковой папахе. – Чую я, там мне помогут! От меня уже и жёнка ушла, и работы не дают. – Шморгает и вытирается рукавом

засаленного пиджачка. – А ведь был первый мастер на улице! Кому что починить, подлатать, это всегда ко мне. Ну, и угостят, конечно. Так и привык. Мне теперь только святые Зосима и Савватий помогут! – пьяница-сапожник мелко и часто крестится, глядя на отливающие изумрудом луковки соловецких храмов.

– Бог всем помогает! – крестьянин тоже перекрестился.

Пётр молча слушает беседу соседей. «Как встретит земля Соловецкая? Помогут ли Преподобные в душе разобраться? Э-эх! Знать бы наперёд, что случится!»

Не скрипнув ни единой доской палубы, к задумавшемуся юноше подсаживается незнакомый парень.

– Семинарист? – карие, с какой-то сумасшедшинкой глаза впиваются в Петра, точно клещи.

– Да, – Петру говорить не хочется, и он слегка отодвигается, но, вспомнив слова Спасителя: «Всякому, хотящему занять у вас, давайте!», оборачивается к соседу. Собеседник круглоголов, брит и отчаянно лопоух. Его нос перебит, на щеке белеет давний шрам.

– Ну, будем знакомы. Алёша! – неприятный сосед первым протягивает руку. Улыбка выдаёт отсутствие двух передних зубов.

– Пётр.

– Тоже на Соловки? – собеседник Петра покусывает уголком рта былинку, невесть откуда взявшуюся на палубе теплохода.

– Да. – Пётр слегка отодвигается от грубого соседа, но тот, ничуть не смутившись, присаживается поближе.

– Что ищешь на островах, юноша?

– Да как все, Бога.

– Бога нет, а все эти монастыри, церкви – обман трудового народа, ложь и кормушка для попов, – Алексей цыкает слюной на палубу и растирает плевком каблуком. – Когда установится новая власть, мы, социал-революционеры, все церкви позакрываем, а пузатых перевешаем! Ну, бывай!

Пётр смотрит вслед уходящему собеседнику с недоумением. Галдящие чайки проносятся за бортом, и слышится в их криках тоскливый плач по ушедшему прежде времени человеку.

Вот и остров. Опорки, сапоги и изящные ботинки ступают на слегка подрагивающие мостки. Монашек подаёт руку каждому паломнику или паломнице невзирая на лица: господин ли, крестьянин ли. Пред Богом все равны.

Те, кто прибыл впервые, удивлённо озираются по сторонам. Прямо перед паломниками уходят в небо стены монастырские, сложенные из таких громадных валунов, что не иначе святые их при помощи ангелов переносили, вдали зеленеют купола соборов. Над обителью плывёт колокольный звон.

– Попервой окунуться в Святое озеро надобно, грехи смыть! Да и без ярлыка об омовении в обитель не пустят! – восклицает один из богомольцев, чернобородый великан в кумачёвой рубахе. Группа паломников-крестьян идёт к озеру. Расходятся по купальням. Дощатых домиков два – для мужчин и женщин.

Сперва в ледяную, невзирая на жаркое лето, воду окунаются мужчины. Раскрасневшиеся и гордые собой, растираются суровыми полотенцами и выходят из купальни. Все крестятся на купола собора Всех Святых и садятся поджидать жён на берегу.

Женщинам, конечно же, времени надо больше: пока кофты-блузки-юбки снимешь, пока, подрагивая всем телом и повизгивая от холода, зайдёшь в тёмную студёную воду! Зато потом так легко: тело становится воздушное, петь хочется! Вот оно какое, Святое озеро, волшебное!

Долго одевались и расчёсывались бабоньки, но после, резво, будто молодые кобылки, подхватили мужей, горластую толпу детишек расхватили и, с трудом подавляя желание перейти на не приличествующий месту и ситуации бег, исчезли за воротами.

Оставшемуся одному Петру надо окунуться в Святое озеро, омыть мирскую пыль, но боязно. Очень уж холодна вода питаемого каналами со всего Большого Соловецкого острова водоёма. Преодолев страх, на секунду с головой ныряет в почти чёрную воду и тут же выскакивает на помост купальни. «Ух и сурово встречают паломника Преподобные!» Пётр силится попасть дрожащей ногой в штанину холщовых брюк и не может. Но вот дрожь прошла, пора идти в обитель.

– Прямо к обедне успели! – радуются крестьяне и, побросав котомки в общей комнате Спасо-Преображенской гостиницы, идут в центральный собор Всех Святых на Литургию.

Господа никуда не торопятся, со вкусом, не спеша располагаются в одно-двухместных номерах, долго пьют чай и, перекусив снедью, томившейся всю долгую поездку в рундучках, выдвигаются на променады.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.